

Глава первая

В день открытия конгресса был дан прием во Дворце съездов. Между длинными накрытыми столами после первых тостов закружился густой разноязычный поток. Переходили с бокалами от одной группы к другой, знакомились и знакомили, за кого-то пили, кому-то передавали приветы, кого-то разыскивали, вглядываясь в карточки, которые блестели у всех на лацканах. Там была эмблема конгресса, фамилия и страна участника. Кружение это, или кипение, с виду беспорядочное, бессмысленное, составляло между тем наибольшее удовольствие и, я бы сказал, даже пользу такого рода международных соборищ. Деловая часть — доклады, сообщения — все это, конечно, тоже было необходимо, хотя большинство лишь делало вид, что что-то в них понимает. Некоторые и не жаждали понимать, но все жаждали общения, возможности поболтать с тем, кого давно знали по публикациям, что-то спросить, рассказать, выяснить. Тут-то и происходило самое нужное, самое дорогое для всех этих людей, разлученных большой частью жизни, разбросанных по университетам, институтам, лабораториям Европы, Америки, Азии и даже Австралии.

Тут были знаменитости прошлого, памятные только пожилым, некогда нашумевшие, обещавшие новые направления; надежды, как водится, не оправдались, от обещаний осталось совсем немного, слава богу, если хоть что-то, хоть одна мутация, одна статейка... Историей своей науки — генетики — молодые, как правило, не интересовались. Для них существовали корифеи сегодняшние,

лидеры новых надежд, новых обещаний. Были знаменитости в каких-то своих узких областях — по болезням кукурузы, по выживаемости дуба, были знаменитости всеобщие, которые сумели что-то понять в наследственности, в механизме эволюции. А были такие знаменитости, живые классики, о которых даже я что-то слышал. Между столами, между группами сновали молодые, у которых все было впереди — и громкая слава, и горькие неудачи.

Прием был тем замечателен, что знакомства, разговоры происходили в начале конгресса, можно было выяснить, кто — кто, кто присутствует, кого нет...

В этом совершенно хаотическом движении среди возгласов, звона рюмок, смеха, поклонов вдруг что-то произошло, легкое движение, шепот пополз, зашелестел. На рассеянно-улыбчивых лицах, оживленных как бы беспредметно, появилось любопытство. Кое-кто двинулся в дальний угол зала. Одни словно невзначай, другие решительно и удивленно.

В том дальнем углу в кресле сидел Зубр. Могучая его голова была набычена, маленькие глазки сверкали исподлобья колюче и зорко. К нему подходили, кланялись, осторожно пожимали руку. Оттопырив нижнюю губу, он пофыркивал, рычал то одобрительно, то возмущенно. Густая седая грива его лохматилась. Он был, конечно, стар, но годы не истощили его, а скорее задубили. Он был тяжел и тверд, как мореный дуб.

Женщина, худенькая, немолодая, обняла его, расцеловала. Женщина была та самая Шарлотта Ауэрбах, чьи книги недавно вышли в переводе на русский, вызвали интерес, ее уже знали в лицо, в то время как Зубра в лицо не знали. Большинство подходили именно затем, чтобы взглянуть на него хотя бы издали. Шарлотта приехала из Англии. Когда-то она бежала туда из гитлеровской Германии. Зубр помог ей устроиться в Англии. Это было давно, в 1933 году, возможно, он забыл об этом, но она помнила малейшие подробности. Легкие женские слезы радости катились по ее щекам. Кроме радости, была еще и печаль долгой разлуки. Сорок пять лет прошло с того дня, как они расстались. Миновали эпохи, весь мир изменился, а Зубр оставался для нее прежним, все таким же старшим, хотя они были одногодки.

Подошел американец, лауреат Нобелевской премии, нескладный, длиннорукий. Он обнял Зубра, захлюпал носом. Он вел себя как хотел, вытирая нос рукой, он был корифей и мог позволить себе. За ним подошел грек Канелис, которого Зубр спас лет тридцать пять назад в Берлине, продержав его у себя до конца войны. Древний грек Антоша Канелис, как звал его Зубр, был немногословен, он знал все языки, хотя не говорил ни на одном, он любил молчать, он молчал на всех языках, и тем не менее все убеждались через его молчаливость, какой это прекрасный человек.

Деликатно выждав свою очередь, к Зубру приблизился Майкл Уайт, австралийская звезда, самоуверенный красавец, но тут он несколько смущенно принялся объяснять, что он тот самый юноша, который сопровождал Зубра и Феодосия Добржанского по Лондону, вернее, должен был водить, а он сопровождал, потому что Зубр и Добржанский разговаривали между собой, теряли его, потом спохватывались, кричали: «Где этот парень?» Зубр одобрительно хмыкал: «Федька Добржанский...» Как ни странно, Уайта он помнил, а Лондон помнился смутно. За Уайтом тянулся голландец, за ним группа немцев, за ней азербайджанский молодой профессор, которого представил его московский соавтор. С Джузеппе Монталенти Зубр перемолвился по-итальянски. Одним из украшений конгресса — ибо на каждом конгрессе, симпозиуме, съезде должно быть свое «высочество» — был швед Густафсон, он тоже протискивался к Зубру. А другое украшение конгресса — президент общества, представитель, уполномоченный, главный редактор, координатор и прочая — человек светский, терпкий, умеющий себя подать, всегда находчиво-острый, тут вдруг оробел и все допытывался у одной из наших молоденьких сотрудниц — удобно ли представить его Зубру.

Молодые теснились поодаль, с любопытством разглядывая и самого Зубра, и этот не предусмотренный программой церемониал — парад знаменитостей, которые подходили к Зубру засвидетельствовать свое почтение. Сам Зубр принимал этот неожиданный парад как должное. Похоже было, что ему нравилась роль маршала или патриарха; он мило-стиво кивал, выслушивал людей, которые занимались несо-

мненно наилучшей, самой прекрасной и доброй из всех наук — они изучали Природу: кто и что растет на земле, все, что движется, летает, ползает, почему все это живое живет и множится, почему развивается, меняется или не меняется, сохраняя свои формы. Поколение за поколением эти люди старались понять то таинственное начало, которое отличает живое от неживого. Как никто другой, постигали они душу, что вложена в каждого червяка, в каждую муху, хотя, разумеется, вместо этого ненаучного названия они употребляли длинные труднопроизносимые термины; но тот из них, кто забирался глубоко, невольно замирал перед чудом совершенства ничтожнейших организмов. Даже на уровне клетки, простейшего устройства оставалась непостижимая сложность поведения, нечто одушевленное. Прикосновение к трепетной этой материи невольно объединяло всю эту разноязычную, разновозрастную, разноликую публику.

Как всегда бывает, тут же возле Зубра вертелся один бойкий профессор, собирая свою мелкую жатву визитных карточек, рукопожатий; он произносил какие-то фразы, вероятно умные, но они пропадали, на них не хватало внимания.

Непосвященные шептались, стараясь не пропустить ничего из происходящего. Потому что чувствовали, что на глазах у них творится событие историческое. О Зубре ходили легенды, множество легенд, одна невероятнее другой. Их передавали на ухо. Не верили. Ахали. Было бы странно, если бы подобные рассказы подтвердились. Они походили на мифы, которыми пытались объяснить какие-то факты его жизни. О нем существовали анекдоты, ему приписывались изречения, выходки и поступки совершенно невозможные. Были просто сказочные истории, интересно, что не всегда для него лестные, некоторые так прямо зловещие. Но большей частью героические или же плутовские, никак не связанные с наукой.

Теперь, разглядывая его в натуральности, все невольно сличали его с тем образом, который витал в их воображении. И как ни удивительно, все сходилось. Видно было по его коренастой фигуре, по его руцищам, какой огромной физической силы был этот человек. Лицо его было изрезано морщинами жизни бурной и значительной. Следы минувших

схваток, отчаянных схваток не безобразили, а скорее украшали его сильную, породистую физиономию. И держался он по-иному, чем все, — свободнее, раскованнее. Чувствовалось, что безоглядность присуща его натуре. Он позволял себе быть самим собою. Каким-то образом он сохранял эту привилегию детей. В нем были изысканность и — грубость. И то и другое соответствовало легендам о его аристократических предках и о его драках с уголовниками.

У любимого его ученика Володи Иванова я увидел дома картину. Это было единственное, что он взял после смерти Зубра на память об учителе. В. Иванову было предоставлено право выбора, и он выбрал картину. Ее называют «Три зубра». На ней изображен сам Зубр, он сидит, держит руки на фигуре зубра; на стене, над ним, висит фотография Нильса Бора. Обычная, известная фотография, но в соседстве с этими двумя зубрами у Нильса Бора тоже проступает «зубрость», бычье упорство, тяжелая челюсть, сосредоточенность и диковатость, неприрученность зубров, бизонов — «вида, почти начисто истребленного человеком». У них много общего — у Зубра и у Нильса Бора, недаром они так легко сошлись, когда Зубр приехал в школу Нильса Бора.

Фигура под руками Зубра как бы вырастает в матерью четырехногую сутулую машину весом чуть ли не в тонну, с мохнатым загривком, горбоносой мордой. Даже в заповеднике они не подпускают к себе человека ближе чем на тридцать метров.

А сам Зубр здесь еще в полной силе и красе. Художник рисовал его, когда ему было лет шестьдесят. А может, шестьдесят пять или семьдесят. Последние годы он оставался неизменным. Новые морщины не старили его. Я никогда не встречал похожих на него. Он из тех людей, которые запоминаются сразу, их ни с кем не спутаешь. Я видел его молодые фотографии и портреты — разумеется, лицо там гладкое, волосы дыбом, кудряво-черные, но выхватываешь его сразу, в любой группе. Даже на кадре плохо снятой кинохроники 1918 года его можно узнать в строю красноармейцев. День всевобуча в Москве 28 мая 1918 года. Красная площадь. У Исторического музея стоят в вольном строю красноармейцы. Над ними бархатные знамена-хоругви, «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» и прочие надписи, уже плохо различи-

мые. Красноармейцы в гимнастерках, ботинки с обмотками, фуражечки — козырьки лакированные. Среди прочих рядом с усачом стоит в профиль наш Зубр. Тоненький, но знакомо сутуловатый, узнаваемый безошибочно. Снимок был напечатан в 1967 году в журнале «Советский экран», и сразу начались звонки: «Видали? Это же вы! Мы вас сразу нашли...»

Художник на портрете написал его красной краской. Не знаю, что хотел красным цветом сказать армянский художник, но портрет получился. На нем кистью выражена куда лучше, чем я могу это сделать пером, раскаленность этой натуры, «зубрость».

...В бинокль я видел, как он выходил из чащи. Косматая туша, не приспособленная к заповеднику. Тесно ему было в этих малых, скupo отмеренных лесных угодьях, некуда запрятать громаду своего тела, некуда девать свою силищу. Воинственно уставив короткие рога, он шел почти бесшумно, влажные ноздри его подрагивали. Он казался громоздким, был излишне тяжел, излишне велик рядом с косулями, горными козлами и прочей живностью заповедника. В нем чувствовалась древность...

Мне вспомнилась больничная палата, уставленная койками в два ряда. Кроме Зубра, там лежали еще человек десять. Я нашел его сразу, потому что все смотрели в его сторону. Он кого-то слушал, и время от времени раздавался его низкий мощный рык. Он был центром палаты. Где бы он ни появлялся, через какое-то время он становился центром. От него ненасытно ждали чего-то и чем больше получали, тем больше ждали.

Я сидел на койке в ногах у него. Густой запах лекарств, карболики, спирта, стеклянный звон пузырьков, скрип кроватей, охи недужных тел — больничный быт никак не вязался с Зубром. Он полулежал на подушках. В распахе казенной рубахи видна была широкая косматая грудь. Руки, мускулистые, обнаженные по локоть, выпуклые были безукоризненно. Кожа была гладкой, белой, неуместно нежной. Воинственно выпяченная нижняя губа придавала лицу и грубость, и породистость. В нем это сочеталось — мужицкое и утонченное. Зверское и аристократическое. В этом бязевом засти-

раннем белье, таком же, как на всех, сотрясаемый тем же кашлем, подчиненный тем же процедурам, что и все, — уколы, осмотры, в этой обстановке не оставалось ни должностей, ни званий, ни окладов, ничего приобретенного, ничего из того, что ценилось там, за дверями палаты. Я проверил себя: может, мы приписываем ему многое потому, что знаем, кто он? Оказалось, что и здесь, в этой палате, больные, понятия не имея, кто такой Зубр, откуда он, чем знаменит, признали его старшинство, его превосходство.

Я рассказывал ему новости, когда вдруг луч зимнего солнца сбоку высветил его заросшую шею, уголок глаза, прикрытый морщинистым веком, седые космы его шевелюры. Не-привычный ракурс, световая вспышка позволили увидеть нечто скрытое: это не возраст, не престарелость, а *древность*. Существо из другой эпохи, архаичное, чудом уцелевшее до наших дней. Он был из той поры, когда стада зубров еще бродили в уроцищах Кавказа и горах Гарца. Экземпляр давно вымершего вида, диковина вроде живой кистеперой рыбы — целаканта, которую все считали вымершей семьдесят миллионов лет назад.

Армянский художник запечатлел эту допотопность, возможно даже не сознавая того. Мы все ходили вокруг да около, а он выразил то, что не давалось нам. Художники бывают провидцами. Перелистывая альбом рисунков Леонида Пастернака, я обратил внимание на портреты двух его сыновей — Александра и Бориса: два симпатичных мальчика, нарисованных отцом с любовью, и как явственно отличие облика Бориса, отмеченного печатью гения!

В этой случайной городской больнице, лишенный привилегий, в общей палате, он выглядел еще трагичнее и величественнее. Античный герой, римский император в изгнании, король Лир в рушище — разная такая ерундовина лезла в голову.

А еще протопоп Аввакум, которого Зубр чрезвычайно чтил, цитировал и приписывал ему свои собственные изречения для пущего авторитета:

— Вернемся на первое, как говоривал протопоп Аввакум, и посмотрим, почему же сие важно в-пятых, и увидим, что в-пятых сие вовсе и не важно.

Тощие подушки, и горелая каша, и хрюп в груди были не важны, а важно было то, что он только что вычитал в английской книжке «Жизнь после жизни» — рассказы вернувшихся *оттуда*, после реанимации, тех, кто побывал на том берегу, заглянул за порог бытия. Вся мощь его ума, его знаний беспомощно застrevала перед глухой стеной, в которую упирался конец жизни. Что там? Есть там что-нибудь или же нет? Куда же девается душа, сознание, мое «я»?

...Луч погас, видение пропало, передо мной снова был хрюпящий, надсадно кашляющий больной, который болеть не умел, потому что болел редко, и оттого болел тяжело. Ощущение бренности, растущей непрочности его пребывания среди нас встревожило меня, пожалуй, впервые. До этой минуты он казался бессмертным, как Нева, как Уральские горы, как статуи римских консулов, что стоят в Эрмитаже... Цепь имела конец, другой конец ее уходил в неведомые нам двадцатые, тридцатые годы, в Гражданскую войну, в Московский университет времен Лебедева и Тимирязева, тянулся и далее — в девятнадцатый век и даже в восемнадцатый, во времена Екатерины. Он был живым, ощутимым звеном этой цепи времен, казалось оборванной навсегда, но вот найденной, еще живой.

Вот тогда я решил записать его рассказы, сохранить, запрятать в кассеты, в рукописи хотя бы остатки того, что до сих пор транжирил в трепе с ним у костров, в застолье, в бесполковых расспросах. С этого дня я стал записывать.

Глава вторая

На перроне Казанского вокзала в морозный декабрьский день 1955 года собралось довольно много встречающих. Большинство из них были знакомы, поскольку все они были коренные москвичи, связанные университетом, кафедрами, домами, общими приятелями. Встречать Зубра пришли не только биологи, были тут и физики, и филологи, и моряки, прежде всего друзья по поколению. Явились почему-то семьями, с детьми, чтобы показать им его, того самого, о котором

столько толковали. Все ощущали торжественность, чуть ли не историчность момента.

Впервые Зубру было разрешено вернуться в Москву. Отсутствовал он более тридцати лет, ибо отбыл из Москвы в 1925 году. Отбывал он с Белорусского вокзала в Германию, а возвращался ныне с Казанского, с Урала, с другой стороны земли.

1956 год был годом особенным, бурным годом прозрений, взлета общественного сознания, годом надежд, споров, освобождения от застарелых страхов. Страхи сидели глубоко, так что даже встреча Зубра на вокзале требовала некоторого гражданского мужества. Все были возбуждены и взволнованы. Не могли представить себе — кого они увидят, какой он стал, узнают ли? В тот год возвращались многие, но этот приезд был особенным. Зубр не возвращался, а приезжал их навестить, он как бы спускался к ним со своих Уральских гор.

Распаренные, счастливые высакивали из вагонов пассажиры, сутились с чемоданами и тюками; и наконец показался Зубр с супругою. Он был в шубе барского покроя, с бровым воротником-шалью; она, красавица, потомственная москвичка, которую он звал Лелька, выше его на полголовы, была к тому же украшена высоченной меховой шляпой.

Их узнали сразу. Дети, те, кто никогда не видел их, выделили их безошибочно по абсолютной свободе манер, раскованности, той непринужденности движений, которая естественна, красива и почему-то так трудна. Тогда, в 1956 году, это было особенно заметно. Люди держались замкнуто, стесненно, тем более в публичных местах. У каждого времени своя жестикуляция, своя походка, своя манера раскланиваться, брат под руку, пить чай, держать речь. В пятидесятые годы вели себя иначе, чем в тридцатые или двадцатые. Например, на всех произвело впечатление, что Зубр поцеловал руки встречавшим его женщинам. Тогда это было не принято. Поеживались от его громкого голоса, от неосторожных фраз. Что-то было в поведении приехавших не нынешнее, не тутошнее и в то же время смутно узнаваемое, как будто появились предки, знакомые по семейным преданиям. Этакое старомодное, отжитое, но было и другое — утраченное. Большинство встречающих учились либо с Лелькой в одной